

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ «БУНИНСКИЕ ОЗЕРКИ»–2024

Ольга Сергеевна Зюкина (34 года) – слушательница Высших литературных курсов в Литературном институте имени А.М. Горького. Работы входили в шорт-лист «Русского Гофмана» (2024). Лауреат 3-й степени конкурса миниатюр имени Ю. Куранова (2024), победитель конкурса «Золото русской литературы» (2023), финалист конкурса «Мыслящий тростник» (2023).

ЖАР

Печь гудела, раскаленным ртом пожирала воздух, причмокивала крошками выщербленных кирпичей и требовала добавить дров. Банщик в холщовой бирюзовой рубаше пригоршнями подгонял воду из ушата в ковшик, из ковшика на угли, а те проглатывали ее на лету, не давая упасть. Черная-пречерная пасть глотала кислород и выдыхала пар. Пар пытался убежать, улететь, раствориться; топтался наверху у бревен, у тесовых досок; забивался в щели и царапины созревшего и лопнувшего, как переспелая слива, дерева; отхватывал аромат у полыни, у засушенных ягод черники на веточках, что вперемешку с дубовыми вениками повисли на гвоздях, впившихся в деревянные жилы бревен. Он старел, тяжелел, отчаявшись прорваться и вырваться, остывал и ложился, ложился слоями, стелился, обнимался, рассыпался на капли.

Щелкнул кран, вода в лохань, из лохани в ковшик. Из жидкого в пар,

из холодного в раскаленное, и ну метаться – то вверх, то в стороны, то вниз. А внизу уже занято: там улегся, свернулся, законопатил, как паклей, все щели раскаленный воздух.

Душно. Душит. Духота.

В печи трещит, гудит и немного воет. У банщика черный веер, лица не видать, лицо красное, багровое, расцвело надувшимися венами лицо его. Веер волной. Сверху вниз, снизу вверх, как заслонкой, как раскаленной дверцей, – едва прикрываешься горячей рукой от взбитого, как пуховое одеяло, пара.

На губах солоно от пота, и горько от полыни, и сладко от черники. И перебраться бы с верхних полатей на нижние, да уже поздно, уже веер повсюду, а он хозяин, он повелитель, лопастями, лопастями вокруг, а потом по телу, как пощечины, только мягкие, словно в опару лицом и не отклеиться.

– Прогреемся, хорошенько прогреемся, а потом – в купель.

В купель, хочу в купель, в купель!
Опять скрипнуло, в пригоршню, между пальцев в лохань, в ковш, на угли. Широкая пасть. Пасть. Пасть. Пасть. И гудит в печи. Только бы не упасть, не упасть, не у...

— Ба-а-а-бушка, — а по щекам солено-потное, сладко-черничное, горячее, горько-полынное, — ба-а-а-а-бушка, — тихонько так, вдруг банщик услышит, вдруг заметит и на меня лопастями-лопастями. Веером-веером-веером.

Ледяная рука рядом, откуда? Почему она не загорелась тоже, не раскалилась, не пропиталась, она же из печи, из теста!

— Достань полено из печки и убей меня, чтоб я не мучилась, — шепчу руке.

Банщик выплеснул лохань. Я испарилась, испарилась, хочу улететь, но места нет — ни вверху, ни внизу.

То ли банщик говорит, то ли пар силится выдохнуть, а слышится бабушкиным голосом — заботливо-повелительным:

— Бегом в купель. Не прыгай, с ног начинаем, так, ниже, ниже, вдох и... с головой!

Накрыло, стиснуло ледяной водой, и сердце не поспевает греть тело. Десять секунд. Пока не вынырнула, пока не вытащили, вижу небо наверху, но мутное, расплывчатое, через толщу воды — не небо, а подобие.

— Теперь обратно и греемся, — властно-повелительно.

Иголки сначала по губам, по щекам, а затем по ногам, рукам и животу.

Не солено, не сладко, не горько.

Открываю глаза — скругленные спинки почерневшего сруба прыщиками срезанных сучков смотрят на меня. Четкие линии вокруг, ни одной размытой. И пара нет, и бани нет, и спины в холщовой рубахе тоже нет.

— Пятый день горит, — срывается заботливый голос за печкой. Наверное, хочет спросить, выживет ли, но боится ответа.

— Грипп. Рецидивирующее свойство, — отрезает кто-то чужой.

Скукожились, сморщились от мертвых книжных слов букетики черники и веники дубовые.

— Она мне говорит... — запнулась, — поленом из печки убей меня, — всхлипнула, а руки-то дрожат, точно дрожат, белые как тесто, сладкие как булочки.

А пахнет, пахнет чем? Пирожками? И звонко, насколько можно, кричу из-за печки:

— Бабушка, пить!

Наутро солнце намазало сливочным маслом света большой ломоть одеяла на кровати. Глаза выпустили душу на волю — смотреть не насмотреться, радуется глаз четкости линий. Выздоровела девочка.

И долго жила-была.

И счастливо жила.

И несчастливо тоже жила.

И детей родила. И к родителям на кладбище ходила.

А когда банщик пришел мучить паром бабушку, не было в доме печки, да и дом был не тот, каменный да гладкий изнутри — не вбить в бревна

гвоздики, не навешать сушеной черники и листов лавровых.

И не отпускал банщик бабушку из своей парилки, и пластыри, под строгий рецепт выписанные, не помогали, и уколы. И лишь однажды, перед тем как превратить измученное тело в пар, дал банщик вынырнуть бабушке из купели, дал ей сил сжать мою руку и сказать:

— Страшно мне...

И услышать мои глупо-бестолковые слова тоже дал:

— Не бойся...

А потом забрал, забрал, забрал...

Красное яйцо по песку могилки, похожему на тертый желток, торчат никогда не жившие искусственные цветы. И сосны гудят, как гудела тогда печка.

Милое детство. И не вернуть, и не вернуться. Ни гриппом, ни ветрянкой, ни булочками, ни сушеной черникой, когда скрутило живот.

У кошки девять жизней, а у человека — три. Трижды умирает и заново рождается человек, как трижды меняет состояние вода.

Взрослеет дитя — твердеет беззаботный ручей детства из живой воды, застывает холодным жгучим льдом. Взросление — первая маленькая смерть. Новая вторая жизнь.

И разлетится лед на атомы, на колючие осколки, попадет в щеки, в глаза, в рот. Когда уходят родители, бабушки и дедушки, умирает человек во второй раз. Потому что никто теперь не вспомнит его маленьким. Совсем Никто — большой, осязаемый

и неведомый. Будто и не был ребенком — подтвердить некому, разве что пару фотографий взять, да и те не кажутся настоящими.

И с этим быть, и с этим жить, и смириться, и примерить на себя, и забыться, но не забыть. А уж потом третья смерть — последняя, паром от земли, в лопасти багрово-красного банщика, и лететь, лететь в неведомое, где ждут те, кто помнит и грипп, и ветрянку, и мольбы о поле не из печки. И снова стать маленьким, крошечным, как испарившаяся капелька, атомом стать, и еще меньше, не кануть, не исчезнуть, но вернуться вновь, лишь коснувшись тех, лишь обняв тех, кто узнает в старухе болеющего ребенка, кто вспомнит, как просила она в бреду жара прогнать банщика и налить полную кружку холодной воды.

